

ЮНОШЕСТВО. Молодежь читает Островского, читает с жадностью и не один уже десяток лет. Наверное, потому прежде всего, что книги его удовлетворяют юношескую потребность в узнавании героического характера.

Взрослой обращалась к Островскому не часто... Но вот недавно перечла все его опубликованные письма. Процесс вчитывания в Островского происходил особенно напряженно еще и по одной цели — личной причине, о которой скажу позже. Мрамор отодвигался, таил. Живая ткань сегодняшнего сопрягалась с живой тканью былого...

МЫ ВНУШАЕМ своим детям, а прежде наши родители внушали нам: воспитывайте силу воли; безвольный человек обречен на то, чтобы быть игрушкой в руках обстоятельств; только волевым подчинится жизнь. Все так. Но воля, по-видимому, прикладное свойство. Волевым может быть и жестокий, недобрый человек, и карьерист, и эгоист — мало ли их!

В Островском замечательно именно направление его удивительной воли. Никакой болью, никакими страданиями не заглушаемое чувство единения с товарищами и страной.

«Конечно, я страдаю оттого, что не могу быть абсолютно полноценным работником. Однако это чувство лишено трагизма, свойственного человеку буржуазного общества. Мои легкие дышат совершенно другим воздухом. Любовь моей социалистической страны так обильна, нежность ее так велика, заботы так трогательны...»

Парижские коммунары обращались друг к другу со словом «гражданин». Люди, совершившие Октябрьскую революцию, называли друг друга «товарищ». Это волнует, как волнует все, что бывает вначале. Потом приходит привычка. Хорошо, что мы привыкаем к хорошему. Только иногда немного жаль. «Милая товарищ Анна!» — обращался Островский в письмах к Анне Караваевой. В этом обращении — сильное, новое чувство общности с соратником по жизни, по борьбе, по идеям.

Сначала он преодолевает боль, болезнь, не имея в противовес ничего, кроме сознания (что, как известно, лежит в сфере нематериального, отвлеченного), сознания того, что, если он, большевик, упадет, в строю большевиков образуется брешь. Хотя какое же отвлеченное, когда оно вполне конкретно, вечно помогало ему сохранять себя как личность от распада в положении самом отчаянном!

«Недавно потерял подвижность левой руки, плеча. Как знаешь, у меня анкилоз правого плечевого сустава, теперь и левый. Горел-горел сустав и зафиксировался. Я теперь сам не могу даже волос причешать... Теперь горит воспаленное правое бедро, и я уже чувствую, что двинуть его в сторону не могу. Определенно оно зафик-

сируется в скором времени. И так, я теряю подвижность всех суставов, которые еще недавно подчинялись. Полное окостенение. Ты ясно знаешь, и чему это ведет. И я тоже знаю... Если бы сумма этой физической боли была меньше, я бы «отошел» немного, а то иногда приходится крепко сжимать зубы, чтобы не завывть по-волчьи, протяжно, злобно...»

Можно любить жизнь ради жизни. А можно ради идеи этой жизни. По-видимому, второй род жизнелюбия — полный особенного достоинства. Человек — мыслящее существо, и именно это — его главное, человеческое, свой-



ПИСЬМА

ство. Как и о чем он мыслит, какова та дорогая мысль, что пронизывает его дни на белом свете, — вот где область его цены, того, что он стоит.

Островского вела идея его человеческой, большевистской причастности к новейшему делу на земле — строительству небывалого общества, где всякий человек должен был научиться или быть научен достойному и счастливому бытию. И снова идея трансформировалась в материю: лицевые мышцы раздвигали его губы в улыбку наперекор страданию.

«Вы думаете, что я только сейчас улыбаюсь, когда меня награждают? Нет. Я всегда улыбался. Надо уметь драться и не сдаваться...»

И ВДРУГ... Едва ли не разом, но бесследно в письмах исчезает тема болезни. Меняется содержание, тон, самый стиль. Как будто Островский внезапно выздоровел. Он начал писать.

Он начал писать — и все отодвинулось на задний план.

Пишущему понятно, как может захватить это занятие. Но чтобы ни обмолвки, ни описки о полной слепоте, о полной неподвижности! Лишь однажды, описывая собственноручный рабочий день, он упоминает — в порядке документального свидетельства: «Просыпаюсь... Острая физическая боль обрушивается на меня стремительной атакой, жестокая и неумолимая. Я инстинктивно делаю первый жест сопротивления — крепко сжимаю зубы...»

А дальше про телефонные звонки, утреннюю почту, чтение газет, книг, визиты... Обычный деловой день занятого человека.

Итак, его можно понять: он начал работать. Трудно понять: грызущая боль — по-

стоянный спутник его часов. До понимания его нужно дойти: нужно впустить в свое сердце не далекое, книжное, а живое ощущение человека, которому отпущен столь краткий и столь трудный срок. Бесполезность тела — и почти непостижимая сила духа!

Непостижимая? Дело в том, что и писание — не само по себе, а одухотворенное высокой целью. Руки, протянутые товарищам и стране: возмите, это мой вклад в общее дело. Понимание ответственности перед страной и народом.

Вопрос прерывает слежение его судьбы. Вопрос о нас, нынешних. Все ли мы, при любом роде деятельности, сегодня столь же четко представляем цель этой деятельности и свою отчетность перед обществом?

МОЖЕТ быть, теперь к месту одно из первых писем. Оно о Рае, жене.

«У меня все невзгоды забываются, Шура, когда я наблюдаю, как растет и развивается

молодая работница. Это моя политическая воспитанница, и мне очень радостно, что растет новый человек — она сейчас с головой ушла в работу — уже перечислив все работы, ты можешь судить обо всем, — она профделгатка, профуполномоченный по Нарпиту, делегатка женотдела, секретарь общегородского делегатского собрания, и на последней райпрофконференции выбрана кандидатом в члены совпрофработников, работать начала в секции РКИ, и на днях назначена по специальности будет руководить школой кройки и шитья Союза Нарпит... Она прибегает радостная, полная заданий и поручений, и мы оба работаем над их решением — сейчас подготовка и переизбрание горсоветов, она мечется и бежит...»

Я прочла и улыбнулась. Но еще фраза следовала за этим:

«Одно только неизбежно — это мое одиночество...»

Хотелось это письмо пропустить, опустить. Оно не понравилось, и думать о нем не хотелось. Но оно само не отпускало и заставляло о себе думать.

Что значит — мне не понравилось? Почему не понравилось? Не следует ли в этом разобратся отчётливо?

Самый близкий человек болел и испытывает одиночество — какие могут быть заседания и кружки? Сегодня мы бы явно отгорчили неустойчивостью. Но вещи надо понимать не в их отвлеченном смысле, а в их личностно-исторических связях. Как это было тогда. Это упование близкого человека — упование чем?

Движением. Шел процесс развития человека, вовлечения личности отдельной, живущей неярко, в яркую жизнь коллектива, общества, страны. Это означало перестройку всего человеческого существа, новое психологическое бытие. Это было радост-

но, это открывало увлекательные творческие перспективы.

Вы заметили, когда бывае- те удовлетворены более всего и когда не удовлетворены совсем? Когда захвачены одной мыслью, когда вся натура ваша устремляется к исполнению, свершению важного для вас замысла, и дело идет — о, тут не помнится ни усталости, ни тяжести дела, хватало бы только суток! И, напротив, вялое ничегонеделание, пустые часы утомляют и огорчают.

Они были удовлетворены и горды, и Островский, и его «политическая воспитанница», которую он благословлял на ее действия, потому что в тех действиях возникал, рос новый человек. Вот что такое «профуполномоченный» по Нарпиту было тогда. Надо это понять. И понять ошибку внешнеисторичного мышления.

Он пишет незадолго до женщины, обратившейся к писателю со своей интимной тоской: «Милая Мария Павловна! Ва-

ше письмо я получил. Мне трудно отвечать на него. Когда человек страдает, ранен, все слова утешения не способны иногда смягчить боль. Не могу писать Вам шаблонные слова. Я могу сказать лишь одно: я в своей жизни тоже испытывал горечь измен и предательства. Но одно лишь спасало: у меня всегда была цель и оправдание жизни — это борьба за социализм. Это самая возвышенная любовь. Если же личное в человеке занимает огромное место, а общественное — крошечное, тогда разгром личной жизни — почти катастрофа. Тогда у человека встает вопрос — зачем жить?..»

Разгром Островского обстоятельствами по-настоящему трудно себе представить — этот вопрос «зачем жить?» перед ним не астабал.

ОН НАШЕЛ себя в литературе. Как это произошло? Ведь вот она, его биография: «Родился в 1904 году, в рабочей семье. По найму работал стал с двенадцати лет. Образование низшее. По профессии — помощник электромонтера. В комсомол вступил в 1919 году, в партию — в 1924 году. Участвовал в гражданской войне. С 15-го по 19-й год работал по найму: кубовщиком, рабочим материальных складов, подручным кочегара на электростанции...»

Можно сказать: перечитай- те «Как закалялась сталь» — и вы все поймете. Но, конечно, важно было бы узнать «литературные мысли» Островского, заглянуть в писательскую мастерскую. Он не оставил ни дневников, ни записей о творческом труде. Чужая рука записывала все под диктовку — какой же дневник... И потом, ему было некогда: он должен был успеть выполнить социальный заказ времени.

К счастью, остались его замечания по пьесе, которую сочинил по роману некто Рафалович.

«Например, сцена на конза-

ле. Ведь Павка к этому времени должен вырасти, а этого не показано. Нельзя отвлекаться на многосторонние поступки, надо разработать одну сложную психологическую тему, но разработать глубоко».

Чувство композиции, знание психологии, меру вкуса, точный слух на реплику и вообще чувство слова — вот что обнаруживают замечания. Перечитайте эти девять страничек в собрании сочинений — они подлинная литературная школа.

Сам он постоянно требовал от товарищей: критики, критики, не похвал, а анализа. Откуда такая жадная тяга не к приятному, а к «неприятному»? От серьезного уважения к себе и к делу, которым занимался.

«Высокое качество, большая художественная и познавательная ценность — вот требования нашего могучего народа к произведениям советских писателей».

Как будто только что сказано...

Последние письма — ему уже (еще!) тридцать два года — лаконичны, сдержанны, исполнены строгого достоинства. Он сформировался как личность, он выработал сам из себя человека высокой культуры, интеллигента новой советской формации.

Я МОГЛА бы обратиться и к другой биографии. Мне известна эта. Важно, что они были рядовыми того поколения.

... Мой отец, член партии с 1912 года, был старшей Островского. Но когда мне — в ту пору еще девочке, естественно, уже знавшей «Как закалялась сталь», — попали в руки дневниковые записи отца (конец 20-х годов, Ялта, туберкулез, попытки писать, выкарабкивание из лап смерти), сходство показалось разительным. Теперь, когда отца больше нет, я прочла все его дневники, всю судьбу — от большевика-подпольщика, красного комиссара, партийного работника до ученого-историка и писателя. Загадка этих дневников — почему это так? и отчего эта лексика? и что означает эта реакция, а не иная? — соединившись с загадкой — и разгадыванием, сегодняшним, почти личным — Островского, стала проясняться. Воля, мышление, способ излагать мысли — да, близкие, почти те же. Пишу об этом потому, что в этой близости — общность того поколения. Для меня это многое объясняет. Сейчас объясняет, когда время Островского и время наших отцов стало прошлым.

Островский выразил эпоху и поколение. Вот где главная ценность.

Мы вглядываемся в его судьбу, в его личность, в оставленное им литературное наследие для того, чтобы сверить по ним наши сегодняшние судьбы, чтобы лучше понять сегодняшний день. Наша идея все та же.

О. КУЧКИНА.